

Мечты — эпизод 3 из 3

Почитай, нас потом года два судили... Маменьку осудили на каторгу на 20 лет, меня за мое малолетство только на 7.

А тебя за что?

Как пособника. стакан-то барину я подавал. Всегда, так было: маменька приготавливали соду, а я подавал. Только, братцы, всё это я вам по-христиански говорю, как перед богом, вы никому не рассказывайте...

Ну, нас и спрашивать никто не станет, говорит Птаха. Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?

Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали, и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.

Бродяга снимает фуражку и крестится.

А в Восточную Сибирь пущай ссылают, говорит он: я не боюсь!

Нешто это лучше?

Совсем другая статья! В каторге ты всё равно что рак в лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести негде сущий ад, такой ад, что и не приведи царица небесная! Разбойник ты и разбойничья тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни богу помолиться. А на поселении не то. На поселении перво-наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать... да-а! Земля там, рассказывают, нипочем, всё равно как снег: бери сколько желаешь! Дадут мне, парень, землю и под пашню, и под огород, и под жилье... Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овечек, собак... Кота сибирского, чтоб мыши и крысы добра моего не ели... Поставлю сруб, братцы, образов накуплю... Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут.

Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, душевным тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а всё лицо, и глаза, и носик застыли и оступели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят.

Не боюсь я Сибири, продолжает бормотать бродяга. Сибирь такая же Россия, такой же бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Всё там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой видимо-невидимо! А мне, братцы, наипервейшее удовольствие рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет наметкой ловлю. Силы-то у меня нету, чтоб наметкой ловить, так я мужика за пяточок нанимаю. И господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или голавля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечика. Всё ведь это понимать надо! К примеру сказать, налим. Налим рыба неделикатная, она и ерша хватит, щука пескаря любит, шилишпер бабочку. Голавля, ежели на быркком месте ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску саженой в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала, стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль дерг! Только тут так норовить надо, чтоб он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил! Когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится, норовлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые страсть! По берегу всё леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать.

Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, по безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек; вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат; корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эхо, повторяющего каждый его шаг.

Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, бог знает!

Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит:

Так-то оно так, всё оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных мест. Где тебе? Верст триста пройдешь и богу душу отдашь. Вишь ты какойдохлый! Шесть верст прошел только, а никак отдышаться не можешь!

Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо сотского, по-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание... Все трое думают. Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебная волокита, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студёные зимы, болезни, смерти товарищей...

Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается.

И впрямь тебе не дойтить! соглашается Птаха. Какой ты ходок? Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, брат!

Известно, помрет! Где ему! говорит Никандр. Его и сейчас в гошпиталь положут... Верно!

Непомнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится... Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили...

Ну, пора идти, говорит Никандр, поднимаясь. Отдохнули!

Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха молчит.